



# Оглавление

1. ИИСУСОВ СЫР .....	9
2. ТРУП .....	20
3. ДЖЕТ .....	26
4. БЕГСТВО .....	38
5. ГУБЕРНАТОР .....	49
6. БАНЧ .....	63
7. МАРШ МУРАВЬЕВ .....	71
8. БЕРЛОГА .....	90
9. ГРЯЗЬ .....	99
10. СУП .....	114
11. ФИТОЛАККА .....	137
12. МОДЖО .....	150
13. ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВЧОНКА .....	162
14. КРЫСА .....	183
15. ТЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ, ЧТО ГРЯДЕТ .....	191
16. ПУСТЬ ГОСПОДЬ ХРАНИТ ТЕБЯ... .....	207
17. ГАРОЛЬД .....	218
18. РАССЛЕДОВАНИЕ .....	236

19. ПОДСТАВА .....	248
20. ТРАВНИК .....	256
21. НОВАЯ ГРЯЗЬ .....	267
22. ДЕЛЬФЫ, 281 .....	280
23. ПОСЛЕДНИЕ ОКТЯБРИ .....	288
24. СЕСТРА ПОЛ .....	294
25. ДЕЛАТЬ .....	309
26. КРАСОТА .....	320
БЛАГОДАРНОСТИ .....	335

---

---

## Иисусов сыр

Дьякон Каффи Ламбкин из баптистской церкви Пяти Концов стал ходячим мертвецом в пасмурный сентябрьский день 1968-го. В тот день старый дьякон, он же Пиджак для друзей, вышел во двор жил-проекта\* Козвей в Южном Бруклине, сунул древний кольт 38-го калибра в лицо девятнадцатилетнему наркодилеру Димсу Клеменсу и спустил курок.

В округе много судачили, за что старик Пиджак — поджарый и улыбчивый темнокожий, который кашлял, перхал, харкал, хохотал и квасил по всем углам Коз-Хаусес большую часть своей семидесятиоднолетней жизни, — выстрелил в самого безжалостного наркодилера, какого только видел жилпроект. У Пиджака не было врагов. Он четырнадцать лет тренировал местную бейсбольную команду. Его покойная жена Хетти была казначеей Рождественского клуба при его церкви. Мирный и всеми любимый человек. Что же стряслось?

Каких только не было теорий наутро после выстрела у собрания отставных городских работников, бомжей из ночлежек, скучающих домохозяек и бывших зеков, что каждый день заседали на скамейке под флашштоком посреди жилпроекта, чтобы хлебнуть халявного кофе и отдать честь взмывающей в небо «Старой славе»\*\*.

— У Пиджака ревматический полиартрит, — объявила сестра Вероника Го, президент ассоциации жильцов Коз-Хаусес и жена священника баптистской церкви Пяти Концов, где Пиджак прослужил пятнадцать лет. Она поведала собранию, что на грядущий День семьи и друзей Пиджак планировал прочитать в церкви свою первую

---

\* Проекты (projects) — муниципальные жилые комплексы в США, строившиеся по заниженным стандартам и сдававшиеся бедным семьям. Со временем стали известны как черные гетто с высоким уровнем нищеты и криминала. — *Прим. перев.*

\*\* Прозвище флага США, его дал в 1831 году капитан Уильям Драйвер. *Прим. перев.*

проповедь, озаглавленную «Сперва помолись, а потом за стол садись». А еще напомнила, что пропали деньги Рождественского клуба, но «если их и взял Пиджак, то не иначе как из-за ревматизма», отметила она.

Сестра Ти Джей Биллингс, или Бам-Бам среди друзей, старшая служительница в Пяти Концах, чей бывший супруг — единственный за богатую историю этой церкви мужчина, который ушел от жены к другому мужчине и при этом не поплатился жизнью (потому что переехал на Аляску), выдвинула собственную теорию. По ее словам, Пиджак стрелял в Димса потому, что в девятый корпус вернулись таинственные муравьи. «Пиджака, — хмуро провозгласила она, — сглазили. Не обошлось без моджо\*».

Мисс Изи Кордеро, вице-президент отделения Пуэрто-риканского общества Коз-Хаусес, которая стояла всего в пятнадцати метрах от Пиджака, когда он навел свою древнюю пушку на кочан Димса и спустил курок, сказала, что вся каша заварилась, поскольку Пиджака шантажировал один «злой бандит-латинос», причем она в точности знает, кто этот бандит, и собирается заявить о нем в полицию. Конечно, все понимали, что это она о своем бывшем муже-доминиканце Хоакине, единственном честном лотерейщике в районе, и что они с Хоакином ненавидят друг друга до печенок и все последние двадцать лет селятся засадить друг друга за решетку. Так что сами понимаете.

Сосиска — дворник Коз-Хаусес и лучший друг Пиджака, каждое утро поднимал флаг и разливал халявный кофе от досугового центра для пенсионеров Коз-Хаусес, — рассказал компании, что Пиджак стрелял в Димса из-за ежегодного бейсбольного матча между Коз-Хаусес и их соперниками Вотч-Хаусес, что не проводился вот уже два года. «Пиджак, — сказал он гордо, — единственный судья, на которого соглашались обе команды».

Но лучше всего чувства собравшихся выразил Доминик Лефлер, Гаитянская Кулинарная Сенсация, проживавший в одном доме с Пиджаком. Доминик только что вернулся из девятидневного отпуска в Порт-о-Пренсе, где навещал матушку, причем вернулся, как всегда, со странным вирусом из третьего мира, от которого слегла

---

\* Моджо — чары или магический амулет, от креольского слова тосо (колдовство).  
*Прим. перев.*

половина его корпуса; жильцы не слезали с унитаза и долгое время обходили его за милую, хотя самого Доминика вирус как будто никогда не брал. Лефлер наблюдал весь чертов балаган в окошко ванной, пока брился. Затем он вернулся на кухню, сел за обед с дочерью-подростком, которая тряслась с температурой под сорок, и сказал: «Всегда знал, что старина Пиджак совершит в жизни хоть что-нибудь великое».

Суть, однако, в том, что никто в проектах на самом деле не знал, за что Пиджак стрелял в Димса, — даже сам Пиджак. Старый дьякон объяснил бы, почему стрелял в Димса, не лучше, чем почему луна выглядит так, будто сделана из сыра, или откуда берутся и куда деваются дрозифилы, или каким образом мэрия на каждый День святого Патрика красит в зеленый воды близлежащей гавани Козвей. В предыдущую ночь ему приснилась жена Хетти, пропавшая в большой буран 1967 года. Пиджак любил рассказывать об этом друзьям.

— День был чудный, — начинал он. — Снег падал с небес, словно пепел. Все накрыло большим белым одеялом. Район выглядел мирным и чистым. В тот вечер мы с Хетти перекусили крабами, потом смотрели в окно на статую Свободы. Потом легли спать.

Посреди ночи она меня растормошила. Открываю глаза и вижу — по комнате огонек парит. Точно маленькая свечка. Покружил-покружил — и за дверь. Хетти сказала: «Это божий свет. Я пойду нарву луноцвета в гавани». Надела пальто и ушла вслед за светом.

В ответ на вопрос, почему он не последовал за ней в гавань Козвей, Пиджак недоумевал.

— Она пошла за божьим светом, — отвечал он. — Плюс там же был Слон.

В этом был резон. Томми Элефанти, он же Слон, тяжеловесный угрюмый итальянец, что обожал мешковатые костюмы и занимался строительством и грузоперевозками, сидел в старом товарном вагоне на пирсе — в двух кварталах от Коз-Хаусес и всего в квартале от церкви Пиджака. Слон и его молчаливые мрачные итальянцы, которые посреди глухой ночи таскали в тот вагон и обратно бог весть что, для всех оставались загадкой. И пугали до усрачки. Даже Димс, само зло во плоти, с ними не связывался.

Так что Пиджак отправился искать Хетти только наутро. Было воскресенье. Встал он спозаранку. Проекты еще спали, свежевывапший

снег оставался по большей части нетронутым. Он прошел по ее следам до пирса, где следы и обрывались у кромки воды. Пиджак посмотрел на океан и увидел, как высоко в небе летит ворон. «Загляденье, — рассказывал он друзьям. — Ворон покружил немного, потом взмыл ввысь и пропал». Он провожал птицу взглядом, сколько было видно, потом поплелся обратно по снегу к крошечной постройке из шлакоблоков — баптистской церкви Пяти Концов, где собиралась на восьмичасовую службу немногочисленная паства. Вошел, как раз когда преподобный Го, стоя за кафедрой перед единственным источником тепла в церкви — старой дровяной печью, — читал молитвенный список больных и затворников.

Пиджак сел на скамью среди сонных прихожан, взял одностраничную церковную программку и трясущейся рукой нацарапал на ней «Хетти», потом передал служительнице, сестре Го, одетой во все белое. Она передала записку мужу, как раз когда он начал зачитывать список вслух. Список всегда тянулся долго и состоял обычно из одних и тех же имен: больной в Далласе, кто-то при смерти в Квинсе и, конечно же, сестра Пол — основательница Пяти Концов. Ей было сто два, и она уже так долго проживала в доме престарелых в Бенсонхерсте, что по-хорошему ее из всей общины помнили всего два человека. На самом деле это еще был вопрос, жива ли сестра Пол, и паства зашумела, что, пожалуй, кому-нибудь, например пастору, надо бы ее проведать. «Я бы поехал, — сказал пастор Го, — но мне зубы дороги». Все знали, что белые в Бенсонхерсте не очень-то жалуют негров. А кроме того, оптимистично заметил пастор, взносы сестры Пол в четыре доллара тринадцать центов исправно приходили почтой каждый месяц, а это хороший знак.

Бубня за кафедрой молитвенный список, пастор Го принял бумажку с именем Хетти, не поведя и бровью. Прочитав ее, он улыбнулся и сострил: «Окстись, брат. Жена с работой — счастье в семье!» Это был камешек в огород Пиджака, который уже много лет не задерживался на одном месте надолго, тогда как Хетти воспитывала их ребенка и успевала работать. Преподобный Го был добродушным красавцем, любившим добрую шутку, хотя в то время сам только-только выпутался из скандала — его заметили в баре «Силки» на Ван-Марл-стрит за попытками обратить в веру кассиршу метро с сиськами размером с Милуоки. Из-за этого его отношения

с общиной осложнились, и потому, когда никто не рассмеялся, он посерьезнел и прочитал имя Хетти вслух, а потом завел гимн «Кто-то зовет меня по имени». Паства подхватила, все вместе пели и молились, и Пиджаку полегчало. Как и преподобному Го.

Тем вечером Хетти так и не вернулась домой. Через два дня люди Слона нашли ее в воде у пирса, с тем самым шарфом на лице, который она повязала, когда выходила из квартиры. Они выловили ее из воды, обернули в шерстяное одеяло, нежно положили на перину чистого белого снега возле вагона и послали за Пиджаком. Когда он прибыл, ему молча вручили литр скотча, вызвали копов, а потом пропали. Слон не хотел недоразумений. Хетти — не из его людей. Пиджак все понимал.

Похороны Хетти стали обычной для церкви Пяти Концов катавасией. Пастор Го опоздал на службу на час, поскольку ноги у него до того распухли из-за подагры, что не взлезали в церковные туфли. Распорядитель похорон, старый беловласый Моррис Херли, кого втихомолку звали Морриской, потому что, ну... все же в курсе, что Моррис-то... в общем, брал он недорого, работал умело и всегда опаздывал с телом на два часа, зато все знали, что выглядеть Хетти будет на миллион баксов, как оно и вышло. Из-за опоздания Морриски пастор Го успел рассудить спор служительниц насчет цветочных композиций. Никто не знал, куда деть цветы. Это Хетти всегда решала, куда их ставить, чтобы утешить какую-нибудь семью: герань — в этот угол, розы — у той скамьи, азалии — у витража. Но сегодня Хетти сама стала почетной гостьей церкви, а потому цветы стояли как попало — где бросил курьер, поэтому за дело пришлось браться, как водится, сестре Го. Между тем сестра Бибб — фигуристая органистка, которая в свои пятьдесят пять была полнотела, лощена и коричневая, как шоколадная конфета, — явилась в ужасном состоянии. Она отходила после своего ежегодного греховного загула — размашистой, забористой, бражной ночи смачного чмокания и кувыркания со своим периодическим полублювником Сосиской, — ддящегося, пока тот не удалялся с праздника ввиду нехватки стойкости. «Сестра Бибб, — жаловался он раз Пиджаку, — творит с органом что-то жуткое. И я не о музыкальном инструменте». Пришла она с раскалывающейся головой и ноющим от какого-то мощного рывка плечом после разгульного блаженства



прошлой ночи. В ступоре села за орган, уложила голову на клавиши, пока стягивались прихожане. Через несколько минут покинула зал и поспешила в подвальную дамскую комнату, надеясь, что там пусто. Но на лестнице споткнулась и нехорошо подвернула лодыжку. Перенесла она все без богохульств и жалоб, в пустом туалете опустошила желудок от вчерашней гулянки, подновила помаду и поправила прическу, после чего вернулась в зал и отыграла всю службу, сидя с лодыжкой, раздувшейся до размера дыни. Потом похромала к себе в квартиру, в ярости и раскаянии, костеря Сосиску, который уже перевел дух после утех и теперь хотел добавки. Он плелся за ней до дома на расстоянии в полквартила, как щенок, и прятался за кустами шелковицы, что росли вдоль дорожек жилпроекта. Всякий раз, оглядываясь через плечо и завидев, что из кустов торчит шляпа Сосиски, сестра Бибб впадала в неистовство.

— Сгинь, паразит, — рявкала она. — Нагуделась я уже с тобой!

Зато Пиджак пришел в церковь в отличной форме после того, как всю прошлую ночь провожал Хетти со своим дружкой Руфусом Харли — выходцем из его родного города и его вторым лучшим бруклинским другом после Сосиски. Работал Руфус дворником в Вотч-Хаусес поблизости, в нескольких кварталах, и, хоть они с Сосиской не ладили — Руфус был родом из Южной Каролины, а Сосиска из Алабамы, — особому сорту сивухи под названием «Кинг-Конг», который бодяжил Руфус, отдавали должное все, даже Сосиска.

Пиджаку было не по душе название фирменного рецепта Руфуса, и за годы он предлагал несколько новых. «Выпивка у тебя бы расходилась как горячие пирожки, если б не называлась в честь гориллы, — сказал он как-то раз. — Чего бы не назвать ее “Рюмашкой Нелли” или “Гидеоновским Крепким”?» Но Руфус только нос воротил. «Было дело, называл ее “Сонни Листоном”, — сказал он, имея в виду грозного негритянского чемпиона-тяжеловеса, чьи пудовые кулаки вышибали из противников дух. — Покуда Мухаммед Али не появился». С чем Пиджак поспорить не мог, так это с тем, что, как ни называй, а сивуха Руфуса — лучшая на весь Бруклин.

Та ночь выдалась долгой и бурной, полной разговоров об их родном городке Поссум-Пойнте, и на следующее утро Пиджак был как огурчик, сидел на первой скамье церкви Пяти Концов

и улыбался, пока над ним хлопотали дамы в белом, а две лучшие хористки поцапались из-за единственного микрофона. Обычно церковные ссоры проходят на пониженных, шипящих тонах — сплошь подковерные козни, интриги и сплетни о неладах в домохозяйстве. Но эта размолвка стала прилюдной — то есть самой лучшей. Поссорившиеся хористки — Нанетт и Сладкая Кукуруза, они же Кузины, — обе были тридцатилетними красавицами и чудесными певицами. Росли они как сестры, жили вместе и недавно страшно расплевались из-за никчемного обитателя жилпроекта, парня по имени Пудинг. Результат был грандиозный. Обе вымещали свой гнев в музыке, пытались перепеть одна другую и с великолепной лютостью надрывались о грядущем спасении славного Царя нашего и Спасителя, Иисуса Христа из Назарета.

Далее преподобный Го, воодушевленный бюстами Кузин, от воплей дивно вздымавшимися под балахонами, произнес громогласный панегирик, чтобы загладить свою прошлую подколку насчет мертвой на тот момент Хетти, поэтому провода выдались лучше, чем церковь Пяти Концов видела за многие годы.

Пиджак наблюдал с благоговением, упиваясь зрелищем и давая диву, как набожные помощницы в белых одеяниях и красивых шляпах снуют вокруг и хлопочут над ним и над его сыном, Толстопалым, сидевшим рядом. Толстопалый — двадцати шести лет, слепой и, как говорили, без пары винтиков в голове — променял детскую пухлость на симпатичную стройность, а его точеные шоколадные черты скрывались за дорогими темными очками — даром какого-то давно забытого соцработника. Он, как обычно, не обращал внимания ни на что, хотя потом на церковной трапезе не взял в рот ни крошки, а это для Толстопалого ненормально. Зато Пиджак остался доволен. «Замечательно, — говорил он друзьям после службы. — Хетти бы понравилось».

Той ночью Хетти ему снилась, и, как часто бывало по вечерам при ее жизни, он делился с ней названиями проповедей, которые планировал однажды прочитать, чем обычно очень ее забавлял, поскольку дальше названий у него никогда не шло: «Благослови Господь корову», и «Благодарю Его за кукурузу», и «Бу!» — сказал цыпленок». Но той ночью она казалась сердитой — сидела в кресле в лиловом платье, скрестив ноги, и слушала насупившись, — так

что он пересказал светлые новости с ее похорон. Говорил, какие прекрасные получились служба, цветы, угощение, речи, музыка и как он рад, что Хетти обрела свои крылья и вознеслась к награде на небесах — хотя могла бы оставить на прощание и какой-никакой совет, как бы ему получить ее пенсию. Она что, не знает, что это такое — день-деньской стоять в очереди в конторе соцстрахования? И как там насчет денег Рождественского клуба, которые она собирала, — денег, что прихожане Пяти Концов откладывали каждую неделю, чтобы в декабре закупить подарков своим детям? Хетти была казначеей, но никогда не говорила, где прячет деньги.

— Все уже интересуются своими кровными, — сказал он. — Ты бы лучше ответила, где их спрятала.

Хетти пропустила вопрос мимо ушей, хлопоча из-за складок на своей ночнушке.

— Хватит говорить со мной как с ребенком, — сказала она. — Уже пятьдесят один год говоришь со мной как с ребенком.

— Где деньги?

— В заднице у себя поищи, пьянь бесстыжая!

— Мы ведь тоже вкладывались-то, между прочим!

— Мы? — хмыкнула она. — Ты за двадцать лет туда ни гроша не положил, забуддыга несчастный, лодырь беспутный! — Она поднялась — и пошло-поехало: они лаялись, как в старые деньки, перепалка переросла в обычную ревущую огнедышащую свару, аж дым коромыслом, и продолжалась, даже когда он проснулся: Хетти, как обычно, всюду следовала за ним — руки в боки, — проедала плешь, пока он пытался скрыться, огрызаясь через плечо. Они ругались на чем свет стоит весь этот день и следующий, не замолкая на завтрак, обед и следующую ночь. Посторонний подумал бы, что Пиджак разговаривает со стенами, куда занимается обычными делами: спускается в котельную на стаканчик с Сосиской, оттуда — обратно по лестнице в квартиру 4G, снова на улицу — чтобы отвести Толстопалого на остановку, где того забирал автобус до общественного центра для слепых, — потом на какую-нибудь свою халтурку и снова домой. Куда бы он ни шел, везде они с Хетти ругались. Или по крайней мере ругался Пиджак. Соседи, конечно, Хетти не видели: только глазели на то, как Пиджак беседует с пустым местом. Тот не обращал на зевак никакого внимания.

---

---

## Грязь

Два копа в форме вошли на репетицию хора баптистской церкви Пяти Концов через пять минут после того, как между Кузинами разразилась ссора. На самом деле та ссора началась двадцать три года назад. Именно столько длился спор Нанетт и ее кузины Сладкой Кукурузы.

Пока бузили Кузины, сестра Го — высокая красивая женщина сорока восьми лет — сидела на скамье хора, тербила ключи от дома и разглядывала свои колени.

— Господи, — бормотала она, пока Кузины шипели друг на друга, — усмири ты этих ослиц.

Словно ей в ответ, открылась дверь церкви, и через крошечный притвор в неф вошли два белых копа, и на их блестящих значках и латунных пуговицах отразился свет голой лампочки. Пока они шли к алтарю по покрытому опилками проходу, их ключи звякали, как колокольчики, а по их бедрам шлепали кожаные кобуры. У кафедры они остановились лицом к хору из пяти женщин и двух мужчин, которые вместе уставились в ответ, за исключением Толстопалого, сына Пиджака, сидевшего в конце скамьи и прятывшего незрячие глаза за очками.

— Кто здесь главный? — спросил один коп.

Сестра Го, сидя в первом ряду, смерила его взглядом. Молодой, нервный и тощий. Позади него — коп постарше, плотный, с широкими плечами и гусиными лапками у синих глаз. Она следила, как глаза старшего быстро окинули помещение. Ей показалось, будто она его уже видела. Он снял фуражку и тихо проговорил молодому копу голосом с легким ирландским переливом:

— Митч, фуражку сними.

Молодой коп подчинился и повторил вопрос.

— Кто главный?

Сестра Го почувствовала, как все глаза хора устремились на нее.  
— В этой церкви, — сказала она, — мы здороваемся перед тем, как излагать свои дела.

Коп поднял голубой сложенный листок.

— Я офицер Данн. У нас тут ордер на Телониуса Эллиса.

— Кого-кого?

— Телониуса Эллиса.

— Здесь таких нет, — сказала сестра Го.

Молодой коп посмотрел на хор за спиной сестры Го и спросил:

— Кто-нибудь его знает? У нас тут ордер.

— Ничего они не знают ни про какой ордер, — сказала сестра Го.

— Я не с вами разговариваю, мисс. А с ними.

— Как по мне, вы сами не определились, с кем пришли разговаривать, офицер. Сперва спрашиваете, кто главный, — я ответила. Потом, вместо того чтобы говорить со мной, отворачиваетесь и говорите с ними. Так с кем вы говорить пришли? Со мной или с ними? Или просто сами с собой?

Ответил пожилой коп за его спиной:

— Митч, проверь обстановку на улице, будь добр!

— Да ведь мы уже, Катоха.

— А ты еще разок.

Молодой коп развернулся, резко сунул голубой ордер Катохе в ожидающую ладонь и исчез за дверью.

Катоха дождался, пока дверь закроется, потом с извинением на лице обернулся к сестре Го.

— Молодежь, — сказал он.

— Знаю.

— Я сержант Маллен из «семь-шесть». Называют меня сержантом Катохой.

— Если вы не против вопроса, офицер, что это за имя такое — Катоха?

— Как ни назови, только в печь не сажай.

Сестра Го хихикнула. Чувствовалось в нем что-то поблескивающее, что-то теплое, что вихрилось и колыхалось, как клуб дыма с блестками.

— Я сестра Го. А у вас есть имя, сэр?

— Есть, но оно ни к чему. Катоха будет в самый раз.

— Рядом был любитель кошек, или кто-то усатый, или кто-то желал вам девять жизней, раз уж родители назвали вас Котохой?

— Однажды еще малым сосунком я наделал полный хеймес из картошки, вот бабушка меня так и прозвала.

— Что такое «хеймес»?

— Бардак.

— Что ж, прозвище у вас тот еще хеймес.

— Значит, и мне про вашу фамилию можно не смолчать? «Го», говорите? Духу моего здесь сейчас же не будет, если скажете, что по имени вы «Ого».

Сестра Го услышала, как сзади кто-то хихикнул, и сама с трудом спрятала улыбку. Ничего не могла с собой поделать. Отчего-то в присутствии этого человека у нее внутри становилось легко.

— Я вас уже где-то видела, офицер Катоха, — сказала она.

— Просто Катоха. Вы могли видеть меня поблизости. Я вырос в четырех кварталах отсюда. Уже давным-давно. Работал следователем в Козе.

— Ну что ж... может, тогда и видела.

— Но то было двадцать лет назад.

— Я здесь была и двадцать лет назад, — ответила она задумчиво.

Потерла щеку, разглядывая Катоху, казалось, очень долго, потом ее глаза блеснули и на лице появилась лукавая улыбка. С улыбкой в ней проявилась неприкрытая, натуральная красота, заставшая Катоху врасплох. А эта женщина, подумал он, не промах.

— Знаю, — сказала она. — На Девятой улице, рядом с парком. В старом баре. Ирландском. «Реттиген». *Вот* где я вас видела.

Катоха покраснел. Несколько певчих заулыбались. Усмехнулись даже Кузины.

— Не скрою, бывал там время от времени на деловых встречах, — сказал он с иронией, взяв себя в руки. — Если не секрет, скажите, вы и сами там выпивали? В то же время? Когда меня видели?

— *Обоже!* — раздался приглушенный смешок от кого-то из хора. Слова прозвучали слитно, как две сложенные монетки: «обоже!» Становилось интересно. Хор рассмеялся. Теперь пришел черед сестры Го краснеть.

— Я не шляюсь по барам, — торопливо ответила она. — У меня работа прямо напротив «Реттигена».

— Работа?

— По дому. Убираюсь в большом особняке. Работаю на одну семью уже четырнадцать лет. Если бы мне давали пять центов за каждую бутылку, что я подбирала по понедельникам на тротуаре у «Реттигена», я бы уже сколотила состояние.

— Я свои бутылки пил внутри, — небрежно ответил Катоха.

— Меня не волнует, где там ваши бутылки, — сказала сестра Го. — Мое дело — убирать. И неважно что. Грязь везде одинаковая.

Катоха кивнул.

— Но одну грязь почистить труднее, чем другую.

— Ну, смотря о чем речь, — сказала она.

Казалось, свет в зале меркнет, и Катоха ощутил некое сопротивление. Как и она. Катоха бросил взгляд на хор.

— Можно переговорить наедине?

— Конечно.

— Может, в подвале?

— Там слишком холодно, — сказала сестра Го. — Пусть они там репетируют. Там стоит пианино.

Хор с облегчением поднялся и гуськом скрылся за задней дверью. Когда мимо проходила Нанетт, сестра Го поймала ее за запястье и тихо сказала:

— Забери Толстопалого.

Замечание было сделано вскользь, но Катоха заметил, каким взглядом обменялись прихожанки. Что-то это значило.

Когда дверь закрылась, она повернулась к нему и спросила:

— Так о чем мы с вами беседовали?

— О грязи, — сказал Катоха.

— Ах да. — Она снова села.

Теперь он видел, что она не просто миленькая, а берет скорее тихой, нарастающей красотой. Высокая, средних лет, лицо еще не иссекли строгие морщины церковного народа, повидавшего слишком много и не совершавшего в связи с этим ничего, кроме молитв. Лицо было твердым и решительным, с гладкой молочно-коричневой кожей; густые волосы с проседью, ровно уложенные; изящная и гордая фигура в скромном платье с цветочным узором. Она сидела на скамье прямо; осанка под стать чопорной танцовщице балета, и в то же время из-за худых локтей, которые она свесила перед

собой с поручня, из-за ленивого позвякивания ключей в руке и выражения, с каким она разглядывала белого копа, в ней чувствовались легкость и уверенность, которые слегка выбивали его из колеи. Потом она откинулась назад и уложила стройную коричневую руку на верхний край скамьи — движением грациозным и гибким. Двигается, подумал Катоха, что твоя газель. Внезапно он обнаружил, что с трудом собирает мысли в кучу.

— Вы сказали, какую-то грязь счищать труднее другой, — сказала она. — Ну, такая у меня работа, офицер. Я, видите ли, горничная. Работаю с грязью. Гоняю грязь день-деньской. Грязь меня не любит. Не садится на место и не говорит: «Вот я прячусь. Приходи и убери меня». Приходится поискать, чтобы вычистить. Но я не обижаюсь на грязь за то, что она грязь. Как можно обижаться на что-то за то, что оно такое, какое есть. Из-за грязи я сама такая, какая есть. Каждый раз, когда я избавляю от нее мир, то делаю его для кого-то чуточку лучше. Так и у вас. Те, кого вы ищете, всякие мерзавцы, они не говорят: «Вот он я. Арестуй меня». Большинство приходится искать, вычищать так или иначе с улиц. Вы несете правосудие, а от этого мир для кого-то становится чуточку лучше. В каком-то смысле у нас с вами одна работа. Мы убираем грязь. Подчищаем за людьми. Собираем чужой мусор, хоть, наверное, и нехорошо звать того, кто живет неправильно, проблемой, или мусором... или грязью.

Катоха поймал себя на том, что улыбается.

— Да вам в адвокаты надо, — сказал он.

Сестра поморщилась, взглянула исподлобья.

— Шутить изволите?

— Нет. — Он рассмеялся.

— Вы по моему говору слышите, что я не училась по книжкам. Я родом из деревни. Когда-то еще хотела учиться в школе, — сказала она с тоской в голосе. — Но это было давно. В моем детстве в Северной Каролине. Не бывали на Юге?

— Нет, мэм.

— А откуда сами будете?

— Я же сказал. Отсюда. Район Коз. Сильвер-стрит.

Она кивнула.

— Ну надо же.

— Но мои родители из Ирландии.



— Это остров?

— Это такое место, где люди останавливаются подуматься. Ну, те, кому есть чем.

Она рассмеялась, и Катохе при этом показалось, будто на его глазах вдруг просветлела темная немая гора, озаренная сотней огоньков маленькой уютной деревушки, живущей на склоне этой горы вот уже сотни лет, — деревушка будто явилась из ниоткуда, разом засияв всеми огнями. Осветилась каждая черточка лица. Вдруг ему захотелось рассказать ей обо всех своих печалях, а заодно о том, что Ирландия из туристических проспектов — это вовсе не Ирландия и что воспоминание о том, как его древняя бабушка родом из Старого Света вела его, восьмилетнего, за руку по Сильвер-стрит, шла, стиснув свой последний грош в ладони, закусив губу и напевая грустную песенку из детства о нищете и лишениях во времена, когда она скиталась по ирландской глубинке в поисках крова и пищи, врывается в его артерии и рвет сердце и по сей день:

*Зыбит трава над ними; пока их сморил сон;  
Конец охоте, холоду; и голод прочь ушел...*

Но вместо всего этого он сказал просто:

— Не стоило мне так.

Она неловко усмехнулась, удивленная его реакцией, и увидела, как он краснеет. Вдруг почувствовала, как у нее забилося сердце. На зал опустилось заряженное молчание. Его почувствовали оба, почувствовали вдруг, словно их толкает к какой-то огромной пропасти, почувствовали неудержимый позыв протянуть руки друг к другу, дотянуться друг до друга, соприкоснуться друг с другом с противоположных концов большой и глубокой долины, какую почти невозможно перейти. Слишком уж она большая, широкая, попросту неразумная, нелепая. И все же...

— Этот парень, — нарушил тишину Катоха, — этот парень, которого я ищу, он, э-э... если его зовут не Телониус Эллис, тогда как?

Теперь она молчала — улыбка пропала, сама отвернулась, чары разрушены.

— Все нормально, — произнес он. — Мы более-менее знаем, что произошло в тот день, — он собирался сказать непринужденно,

в утешение, но вышло официально, а этого ему не хотелось. Его самого удивило отсутствие искренности в своем голосе. В этой высокой шоколадной женщине чувствовалась какая-то легкость, просвечивающая нежность, что раскрыли в нем частичку, которая обычно хранилась взаперти. Ему оставалось всего четыре месяца до пенсии. На четыре месяца больше, чем надо. Лучше бы он ушел на пенсию вчера. Его внезапно потянуло снять форму, бросить на пол, спуститься в подвал к хору и запеть.

Он выпалил неожиданно для себя:

— Я скоро ухожу в отставку. Через сто двадцать дней. Поеду рыбачить. Может, тоже буду петь в хоре.

— Разве так проводят остаток жизни?

— Это вы про хор?

— Нет. Про рыбалку.

— Ничего лучше в голову не приходит.

— Ну, коли вам так нравится, будь по-вашему. Все лучше, чем похороны и пьющие шайки.

— Как в «Реттигене»?

Она отмахнулась.

— Да это место меня не волнует. Дерутся и бранятся во всех кабаках по всему миру. А хуже всего богобоязненные места. В некоторых церквях округи Бог стоит на последнем месте. Кажется, в наши дни в церквях не столько молятся, сколько дерутся, причем больше, чем на улице. Везде страшно. Раньше не так было.

Ее слова привели Катоху в чувство. Он с усилием вернулся к делу.

— Можно расспросить вас об этом человеке, Телониусе Эллисе? Сестра Го подняла руку.

— Говорю как перед Богом, не знаю никого в церкви с этим именем.

— Другого у нас нет. Узнали от свидетеля.

— Видать, это вам Рэй Чарльз сказал. Или кто-то из другой церкви. Катоха улыбнулся.

— Мы с вами оба знаем, что он ходит в эту церковь.

— Кто?

— Старик. Стрелок. Много пьет. Со всеми знаком.

Сестра Го угрюмо улыбнулась.

— Зачем спрашивать меня? Ваш человек и так его знает.

— Какой наш человек?

Сестра Го склонила голову набок. От того, как склонилось это чудесное лицо, он на миг лишился сил. Казалось, словно его лица вдруг коснулось птичье крыло и повеяло туманным воздухом, будто ему на плечи спорхнула дымка. Его брови поднялись, когда он моргнул в ответ, потом он потупил взгляд. Почувствовал, как дверь к эмоциям, только что с трудом запертая, распахнулась снова. Уставившись в пол, поймал себя на том, что гадает о ее возрасте.

— Коп, который работает у Сосиски, — сказала она.

— Какой еще сосиски?

— Коп, — терпеливо повторила сестра Го, — который работает у Сосиски. В подвальной котельной. Сосиска — старший дворник и кочегар. Вот его помощник. Молодой парнишка. Он из ваших.

— Как Сосиску зовут на самом деле?

Она усмехнулась.

— Что вы меня с толку сбиваете? Мы говорим о вашем человеке. Сосиска — дворник из семнадцатого корпуса. Цветной парнишка, который работает у него... это *он* спас жизнь Димсу, а не кто-нибудь другой. Зदेशние и не знают, то ли его благодарить, то ли водой окатить.

Катоха молчал. Сестра Го улыбнулась.

— Все в Козе догадались, что он коп. Вы что же, не знаете своих земляков?

Катоха с трудом сдерживался, чтобы не вылететь пулей из церкви, бегом вернуться в участок и отхлестать капитана по щекам. Он чувствовал себя дураком. Сейчас он просто прибирает за капитаном. Джет, Мистер Первый Черный Все-На-Свете. Да пацану не по зубам работа следователем. Слишком молод. Никакого опыта. Никакой сметки. Ни союзников, ни учителей, кроме разве что Катохи. Капитан настаивал: «В Коз-Хаусес нам нужны негры». Ему что ни отвечай, все как об стенку горох. Что же капитан за дурак такой?

— Пацана перевели в Квинс, — сказал он. — Я рад. Он парень хороший. Я сам его учил.

— Вы поэтому сюда пришли? — спросила сестра Го.

— Нет. Меня попросили принять дело, потому что я знаю округу. Они... хотят прижать этих новых наркодилеров.

Он заметил, как ее выражение слегка изменилось.

— Можно задать личный вопрос? — сказала она.

— Конечно.

— Из-за чего следователь может снова надеть форму патрульного?  
— Долгая история, — сказал он. — Как я уже говорил, я здесь вырос. Мне нравится работа. Нравятся люди. Если копы хотят прижать местных наркобаронов, я только обеими руками за.

Сестра Го не смогла полностью скрыть ухмылку, отразившуюся на лице.

— Если так они прижимают, то где-то не там жмут, — сказала она. — Пиджаку уже семьдесят один. Он не наркодилер.

— Мы бы хотели с ним поговорить, — продолжил Катоха.

— Найти его не составит труда. Он дьякон в этой самой церкви. Кое-кто зовет его дьяконом Каффи. Но большинство зовет Пиджаком, потому что он в них любит щеголять. Теперь вы легко узнаете его имя. Больше ничем вам помочь не могу. Мне здесь еще жить.

— Хорошо его знаете?

— Уж двадцать лет. С двадцати восьми.

Катоха быстро подсчитал в уме. «На десять лет моложе меня», — подумал он. Поймал себя на том, что поправляет форму, чтобы скрыть небольшое брюшко.

— Кем он работает? — спросил он.

— В основном подрабатывает. Все понемногу. В какие-то дни трудится в «Алкоголе Иткина». В другие — убирается в подвале. Выносит мусор. Ухаживает за садом у нескольких белых в округе. У него к этому талант. Может сделать с растениями что угодно. Он этим славится. И тем, как пьет. И бейсболом.

Катоха ненадолго задумался.

— Это он судья матчей между вами и Вотч-Хаусес? Тот, кто кричит и обегает все базы?

— Единственный и неповторимый.

Катоха рассмеялся.

— Забавный мужичок. Я иногда видел матчи, когда был в патруле. Там еще был чертовский игрок. Какой-то пацан... лет четырнадцати, что ли. С ума сойти, как бросал мяч.

— Это Димс. Его и подстрелили.

— Да вы шутите.

Она вздохнула и помолчала.

— С двенадцати или тринадцати Димс каждое воскресенье сидел вот на том самом месте, рядом с вами. Пиджак — дьякон

Каффи — он был учителем Димса в воскресной школе. И его тренером. И вообще всем на свете. Пока не умерла Хетти. Это его супруга.

«Вот поэтому, — с горечью подумал Катоха, — мне уже пора на покой».

— А что с ней случилось?

— Упала в гавань и утонула. Два года назад. Никто так и не понял почему.

— Как думаете, этот ваш мужик имеет к этому отношение?

— Пиджак мне не мужик. Я за жизнь падала низко, но не настолько. Я замужем. За местным священником.

У Катохи екнуло сердце.

— Ясно, — сказал он.

— Он не имеет никакого отношения к смерти Хетти — это я говорю про Пиджака. Так уж здесь бывает. Больше того, он здесь один из немногих, кто правда любил свою жену.

Сидела она очень спокойно, но в ее прекрасных оливковых глазах были такие глубокие мягкость и боль, что, заглянув в них, он увидел завихрения омутов; представил, будто видит мороженое, надолго забытое на столе для пикника под жарким солнцем. Сожаление лилось из ее глаз ручьями. Казалось, она прямо перед ним рассыпается на части.

Он почувствовал, как краснеет, и отвернулся. Уже хотел промолвить извинение, когда услышал ее:

— Вам куда лучше идет обычная одежда, чем эта пышная форма. Видать, потому я вас и запомнила.

Позже, намного позже ему придет в голову, что, быть может, запомнила она его потому, что наблюдала за ним, пока он сидел на улице перед баром с приятелями и слушал, как разочарованные в жизни бойцы ИРА\* костерят бриташек и жалуются, как скатился район из-за того, что понаехали негры и латиносы с их чувью насчет гражданских прав, устраиваются работать в метро, дворниками, вахтерами, дерутся за объедки и куриные косточки, которые им всем смахнули со своего стола Рокфеллеры и иже с ними. Катоха вдруг пробормотал:

— Значит, ее смерть расследовать не нужно?

— Расследуйте что хотите. Хетти была суровой бабой. Суровая из-за суровой жизни. Но хорошая. В их доме штаны носила она.

---

\* Ирландская республиканская армия. *Прим. ред.*

Пиджак делал все, что она велела. Не считая случаев, — она хихикнула, — когда доходило до сыра.

— Сыра?

— В одном корпусе каждую первую субботу месяца раздают бесплатный сыр. Хетти это терпеть не могла. Они все время из-за этого ссорились. Но за этим исключением жили в ладу.

— Как думаете, что с ней случилось?

— Пошла в гавань и утопилась. С тех пор в этой церкви дела идут скверно.

— Почему она, по-вашему, утопилась?

— Видать, устала.

Катоха вздохнул.

— Так мне в рапорте и писать?

— Пишите что хотите. Сказать по правде, я надеюсь, что Пиджак уже смотал удочки. Димс не стоит того, чтобы садиться из-за него в тюрьму. Больше нет.

— Понимаю. Но этот ваш вооружен. Может, и опасен. А из-за этого становится опасно на улицах.

Сестра Го фыркнула.

— Тут опасно вот уже четыре года как, с тех пор как появился этот новый наркотик. Эта новая дурь — не знаю, как называется, — ее курят, ее вкалывают в вены шприцами... что ни делай, а стоит попробовать несколько раз, как уже не слезешь. Ничего подобного я здесь не видела, а я повидала многое. В районе все было хорошо, пока не появился новый наркотик. Теперь каждый вечер стариков избивают, когда они возвращаются с работы, отнимают получку, хоть ее и так кот наплакал, только чтобы торчки могли купить еще отравы у Димса. Ему должно быть стыдно. Будь его дедушка еще жив, пришиб бы его на месте.

— Понимаю. Но этот ваш не может вершить суд самолично. Вот для чего придумали это. — Катоха поднял ордер.

Теперь ее лицо посуровело, между ними снова разверзлось пространство.

— Так работайте. А раз уж начали разбрасываться ордерами, может, выпишете ордер и на того, кто спер деньги нашего Рождественского клуба. Думаю, там тыщи две будет.

— Это еще что такое?

— Рождественский клуб. Каждый год мы собирали деньги, чтобы купить подарки нашим детям на Рождество. Их собирала и хранила в коробочке Хетти. Она была умница. Ни единой душой не говорила, где прячет деньги, и каждое Рождество выдавала на руки без обмана. Незадача в том, что теперь ее нет, а Пиджак не знает, где их искать.

— Почему бы его не спросить?

Сестра Го рассмеялась.

— Если б он знал, уже отдал бы. Пиджак не стал бы воровать у церкви. Даже за стакан.

— Я видел, как за стакан люди творили и что похуже.

Сестра Го нахмурилась, на ее чистом приятном лице нарисовалась досада.

— Вы добрый человек, я вижу. Но в этой церкви народ бедный. Мы копим гроши на рождественские гостинцы детям. Молимся друг за друга Богу-искупителю и тем живем. Наши рождественские деньги пропали, и скорее всего навсегда, и выходит, на то божья воля. Для вас, полиции, это ничего не значит, кроме разве что подозрения, будто их мог взять Пиджак. Но тут вы ошибаетесь. Пиджак сам бы в гавань бросился, а не взял бы ни пенни ни у одной души в этом мире. Случилось с ним только одно: он упился вдрызг и попытался очистить район одним махом. И теперь я в жизни не видела столько копов, которые все вверх дном переворачивают, лишь бы его найти. О чем нам это говорит?

— Мы хотим его защитить. Клеменс работает на страшных людей. Они-то нам на самом деле и нужны.

— Вот и арестуйте Димса. И всех остальных, кто торгует этой дьявольщиной.

Катоха вздохнул.

— Двадцать лет назад я бы еще так и сделал. Но не сегодня.

Он почувствовал, как пространство между ними смыкается, причем он себе это не навывдумывал. Сестра Го тоже почувствовала. Ощутила его доброту, его честность и сознательность. И ощутила что-то еще. Что-то огромное. Как будто где-то внутри него засел духовный магнит и притягивал ее. Это удивляло, пронимало, даже будоражило. Она следила глазами, как он поднимается на ноги и идет к двери. Быстро встала и проводила его по проходу — Катоха что-то нервно напевал про себя, пробираясь на выход мимо дровяной печи по опилкам на полу, а она искося его изучала. Она не чувствовала себя так с мужчиной с тех пор, как

однажды днем за ней в школу пришел отец после того, как белые ребята избили мальчика из ее класса, — не чувствовала таких уюта и надежности, которые излучает человек, кому она безразлична. Да еще и белый. Странно, удивительно это было чувствовать с мужчиной — с любимым, особенно с незнакомцем. Ей казалось, будто она спит.

Они задержались у двери.

— Если дьякон покажется, передайте, что с нами ему будет надежней, — сказал Катоха.

Сестра Го уже хотела было ответить, когда из притвора раздался голос:

— Где мой папа?

Это был Толстопалый. Он поднялся из подвала и сидел на складном стуле в сумраке рядом со входной дверью — глаза закрыты привычными очками, покачивался взад-вперед, как обычно. В подвале пел хор — очевидно, никто не думал за ним следить, ведь Толстопалый знал церковь не хуже других и часто любил бродить по крошечной постройке сам по себе.

Сестра Го взяла его под локоть, чтобы поднять.

— Палый, г'ван на репетицию, — сказала она. — Я скоро приду.

Толстопалый нехотя встал. Она бережно развернула его и положила его ладонь на перила лестницы. Они провожали взглядом, как он спускается в подвал и пропадает там.

Когда Палый скрылся из виду, Катоха сказал:

— Я так понимаю, это его сын.

Сестра Го промолчала.

— Вы так и не сказали, в каком корпусе живет этот ваш, — сказал он.

— А вы не спрашивали. — Она отвернулась к окну, спиной к полицейскому, и нервно потерла ладони, глядя на улицу.

— Мне спуститься и спросить его сына?

— Зачем? Вы же видите, мальчик недоразвитый.

— Уж где его дом, он знает, в этом я уверен.

Она вздохнула, не отворачиваясь от окна.

— Ответьте мне: что хорошего в том, чтобы посадить единственного, кто здесь сделал хоть что-то правильное?

— Это не я решаю.

— Я уже ответила. Пиджака найти просто. Он где-то в округе.

— Мне записать, что вы лжете? Мы его не видели.



Ее лицо помрачнело.

— Пишите как пожелаете. Как бы ни легла карта, а стоит вам посадить Пиджака, соцслужба заберет Толстопалого. Зашлет его в Бронкс или Квинс, и только мы его и видели. А это сын Хетти. Хетти родила его в сорок лет. Для женщины это уже поздновато. А для той, кто прожил такую суровую жизнь, тем более.

— Мне жаль. Но и это не мне решать.

— Ну конечно. Но лично я из тех, кто ложится спать, если стелкивается не со своим делом, — сказала сестра Го.

Катоха горько рассмеялся.

— Напомните мне в следующий раз перед службой наесться убойных таблеток, — сказал он.

Теперь пришел ее черед смеяться.

— Я не то хотела сказать. Хетти многое сделала для нашей церкви. Была с самого начала. Не взяла себе ни пенни из рождественских денег, даже когда осталась без работы. Делайте как вам угодно, но стоит арестовать Пиджака, как закатают заодно и Толстопалого, а это уже совсем другой расклад. Видать, придется нам за него биться.

Катоха изможденно протянул руки.

— Вы что мне прикажете, прощать всех поголовно, кто разгуливает по району с пистолетом? Закон есть закон. Этот ваш стрелял. Стрелял в человека. На глазах у свидетелей! Стрелял он, понятно, не в церковного хориста...

— Димс *был* хористом.

— Вы сами знаете, как все устроено.

Сестра Го не сдвинулась от окна в притворе. Катоха наблюдал за ней — с прямой спиной, высокая, смотрит наружу, дышит медленно, груди ходят, как две кивающие фары. Лицо повернуто в профиль, оливковые глаза обшаривают улицы, хрупкости и нежности как не бывало: скулы, волевой подбородок, широкий нос с покрасневшим кончиком — снова рассердилась. Он вспомнил собственную жену: дома на Стейтен-Айленде, в халате, вырезает купоны из «Стейтен-Айленд эдванс», местной газеты, глаза слезятся от скуки, жалуется на то, как в четверг ей покрасили ногти, в пятницу — уложили волосы, в субботу — пропустила вечер бинго, а тем временем ее талия раздается, ее терпение истощается. Он видел, как сестра Го потирает шею, и поймал себя на желании коснуться этой шеи своими пальцами,

провести по длинной изогнутой спине. Показалось, ее губы шевельнулись, но он отвлекся и не расслышал. Она что-то говорила, а уловил он только окончание и только тогда понял, что говорит-то он, не она, говорит что-то о том, как всегда любил окрестности и вернулся в Коз потому, что в другом участке не получалось работать честно, а Коз — единственное место, где он себя чувствует привольно, потому что вырос всего в паре кварталов отсюда и до сих пор здесь как дома. Вот зачем он вернулся — завершить здесь свою карьеру, побыть под конец дома. А это дело, сказал он, «что-то с чем-то, как ни посмотри. В любой другой части Бруклина о нем бы забыли. Но ваш хорист Димс входит в большую организацию. У них свои интересы по всему городу — с мафией, политиками, даже копами, и о последнем вы от меня, если что, не слышали. Они доберутся до любого, кто встанет у них на пути. У них ответ простой. Вот так все и есть».

Она слушала его молча, уставившись в окно на потемневший район, на старый вагон Слона в следующем квартале, на облезлые, обшарпанные улицы, где ветром носит газеты, на панцири старых машин, рассеявшихся на бордюрах, как дохлые жуки. Она видела в окне отражение Катохи, пока он говорил позади, — белого человека в полицейской форме. Но что-то было в его голубых глазах, в том, как он поводил широкими плечами, как стоял и двигался, чем выделялся. Она следила за его отражением в окне, пока он говорил: глаза потуплены, не находит рукам места. Было в нем что-то огромное, пришла она к выводу, — заводь, пруд, а то и озеро. Милый ирландский акцент придавал элегантности, несмотря на мощные плечи и грубые руки. Человек рассудительный и добрый. И сестра Го поняла, что он в такой же ловушке, как и она.

— Пусть будет как будет, — сказала она тихо своему отражению.

— Нельзя все так просто бросить.

Она покосилась на него с нежностью. В притворе блеснули темные глаза.

— Заходите ко мне еще, — сказала она. И на этом открыла ему дверь.

Катоха без лишних слов надел полицейскую фуражку и вышел в темный вечер, где вонь грязной верфи проникла в его ноздри и сознание с легкостью сирени и лунных лучей, трепещущих бабочками у его пробудившегося сердца.